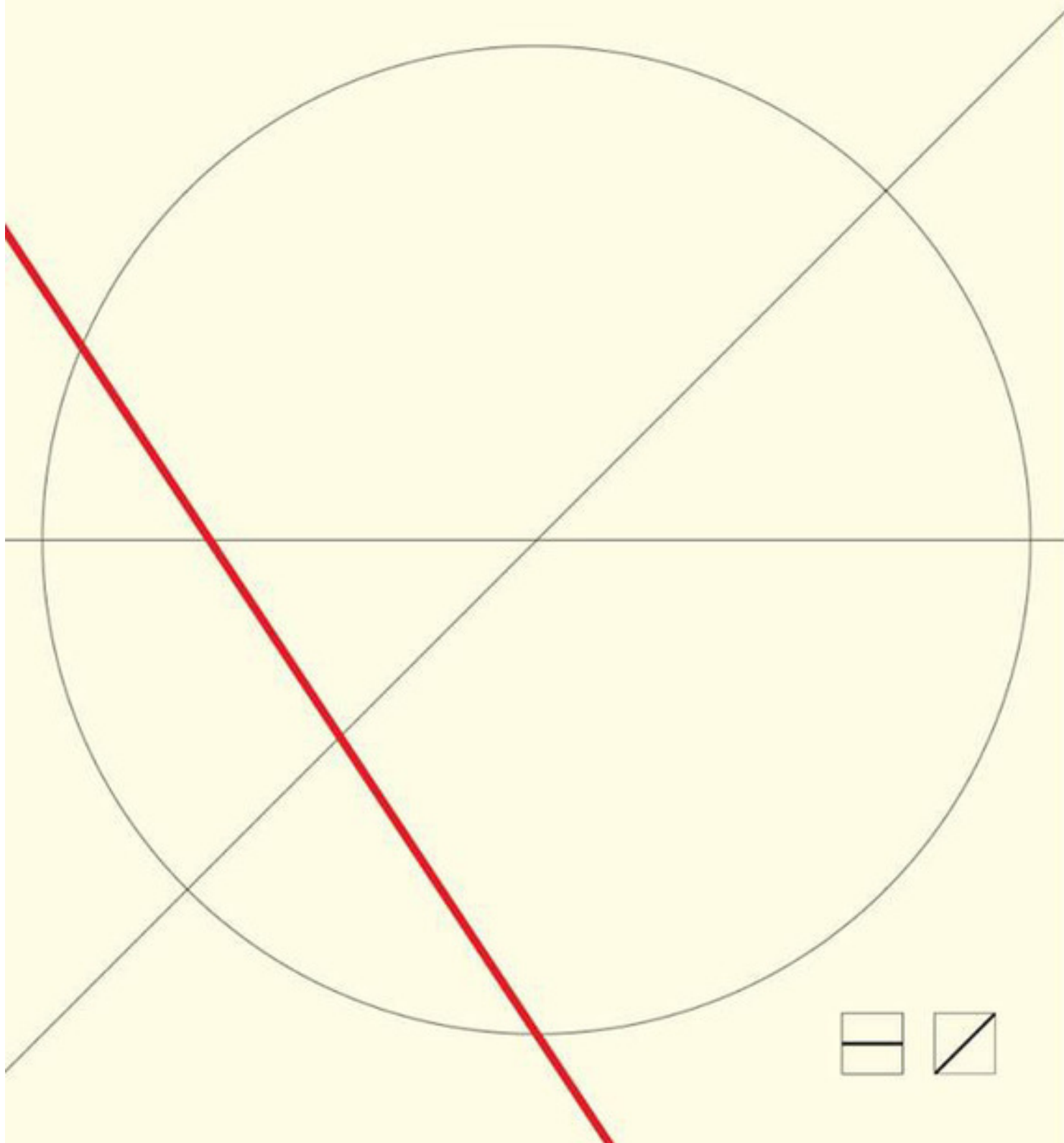


ХАННА АРЕНДТ О НАСИЛИИ



Ханна Арендт

О насилии

«Новое издательство»

1969

Арендт Х.

О насилии / Х. Арендт — «Новое издательство», 1969

Книга одного из крупнейших политических мыслителей XX века Ханны Арендт «О насилии» – компактный очерк политической теории, написанный по горячим следам студенческих протестов 1968 года. Книга радикально переосмысляет феномен насилия, традиционно считавшегося если не основой власти, то одним из основных способов ее осуществления, – по мнению Арендт, если считать властью легитимную форму господства, присущую любой группе согласованно действующих людей, насилие оказывается ее полной противоположностью – его применение всегда является следствием слабости власти и продолжает ее разрушать. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

© Арендт Х., 1969

© Новое издательство, 1969

Содержание

Глава первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Ханна Арендт О насилии

Hannah Arendt
On Violence

Published by special arrangement with Houghton Mifflin Harcourt

© 1969, 1970 by Hannah Arendt

© Новое издательство, 2014

Моему другу Мэри

Глава первая

Поводом к этим размышлениям стали события и дискуссии последних нескольких лет, рассмотренные в контексте всего XX века, который действительно оказался, как предсказывал Ленин, веком войн и революций, а потому и веком насилия, которое принято считать их общим знаменателем. В текущей ситуации есть, однако, еще один фактор, который, хотя никем и не был предсказан, имеет по крайней мере не меньшее значение. Техническая эволюция орудий насилия достигла сейчас такой стадии, что уже невозможно представить какую бы то ни было политическую цель, которая соответствовала бы их разрушительному потенциалу или оправдывала бы их практическое применение в вооруженном конфликте. Поэтому война – с незапамятных времен безжалостный верховный арбитр международных споров – утратила большую часть эффективности и почти весь свой блеск. «Апокалиптическая» шахматная партия между сверхдержавами, то есть между государствами, действующими на высшей ступени развития нашей цивилизации, ведется в соответствии с правилом «кто бы ни выиграл, конец обоим»¹; это игра, лишенная всякого сходства с любыми прежними военными играми. Ее «рациональной» целью является устрашение, а не победа, и поскольку гонка вооружений уже не является подготовкой к войне, то теперь она может быть оправдана лишь на том основании, что наибольшее устрашение – это лучшая гарантия мира. На вопрос, каким образом мы когда-нибудь сумеем выпутаться из очевидного безумия этой ситуации, ответа нет.

Поскольку насилие – в отличие от власти (*power*), силы (*force*) или мощи (*strength*) – всегда нуждается в *орудиях* (как давно указывал Энгельс²), то технологическая революция, революция в изготовлении орудий, особенно заметно проявилась в военном деле. Сама сущность насильственного действия управляется категорией «средство – цель», а применительно к человеческим делам основное свойство этой категории – это риск, что цель окажется подчинена средствам, которые она оправдывает и которые требуются для ее достижения. А поскольку конечная цель человеческого действия в отличие от конечного продукта производства не поддается надежному предвидению, то средства, используемые для достижения политических целей, обычно имеют большее влияние на будущее мира, чем предполагаемые цели.

Контролю деятелей не подвластны результаты любых человеческих действий, но насилие таит в себе еще и дополнительный элемент произвольности; нигде Фортуна, т. е. удача или неудача, не играет столь судьбоносную роль в человеческих делах, как на поле битвы, и это вторжение нежданного не исчезнет, если его назвать «случайным событием» и счесть сомнительным с научной точки зрения; равно как нельзя его устранить с помощью моделирования, [разработки] сценариев, теории игр и т. п. В таких вопросах не бывает достоверности, даже финальной достоверности взаимного уничтожения при таких-то расчетных условиях. Сам тот факт, что те, кто совершенствует средства уничтожения, наконец достигли такого уровня технического развития, когда благодаря находящимся у них в распоряжении средствам, сама их цель, а именно война, оказалась на грани полного исчезновения³, – сам этот факт служит ироническим напоминанием о вездесущей непредсказуемости, с которой мы сталкиваемся как только приближаемся к сфере насилия. Главная причина, по которой война нас все еще не покинула, – не тайное стремление к смерти, присущее человеческому виду, не неукротимый

¹ Wheeler H. The Strategic Calculators // Calder N. Unless Peace Comes. New York: Viking, 1968. P. 109.

² Engels F. Herrn Eugen Duhrings Umwälzung der Wissenschaft [1878]. Part II, ch. 3 [Энгельс Ф. Анти-Дюринг: Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: В 50 т. М., 1961. Т. 20. С. 170–178].

³ Как указывает генерал Андре Бофр в «Полях сражений в 1980-х», только «в частях света, еще не покрытых ядерным устрашением», война еще возможна, и даже эта «обычная война», несмотря на свои ужасы, уже фактически ограничена постоянной угрозой эскалации в ядерную войну (цит. по: Calder N. Op. cit. P. 3).

инстинкт агрессии, не (последний и более правдоподобный ответ) серьезные экономические и социальные опасности, связанные с разоружением⁴, а тот простой факт, что никакой замены этому окончательному арбитру в международных делах на политической сцене до сих пор нет. Не был ли прав Гоббс, когда говорил: «Договоры без меча – это просто слова?»

И маловероятно, что такая замена появится, до тех пор пока отождествляются национальная независимость, т. е. свобода от иностранного господства (*rule*), и государственный суверенитет, т. е. претензия на ничем не сдержанную и неограниченную власть (*power*) в международных делах. (Соединенные Штаты Америки входят в небольшое число стран, где надлежащее разделение независимости и суверенитета возможно по крайней мере теоретически, поскольку такое разделение не будет угрожать самим основам американской республики. Согласно американской конституции, международные договоры составляют неотъемлемую часть федерального законодательства и – как заметил в 1793 году судья Джеймс Уилсон – «конституции Соединенных Штатов понятие суверенитета совершенно неведомо». Но времена столь трезво-мыслящего и горделивого отстранения от традиционного языка и концептуальной политической схемы европейского национального государства давно прошли; наследие Американской революции забыто, и американское правительство к добру или к худу сделалось наследником Европы, словно унаследовав свое родовое достояние, не ведая, увы, о том факте, что упадку европейской мощи предшествовало и сопутствовало политическое банкротство – банкротство национального государства и его концепции суверенитета.) То, что война до сих пор остается *ultima ratio* [последним доводом], продолжением политики насильственными средствами в отношениях между неразвитыми странами, не может служить аргументом против ее устарелости, и не может служить утешением тот факт, что только малые страны без ядерного и биологического оружия по-прежнему могут позволить себе воевать. Ни для кого не секрет, что пресловутое «случайное событие» [которое станет поводом к началу ядерной войны] скорее всего произойдет именно в тех частях планеты, где древняя максима «у победы нет альтернативы» по-прежнему близка к истине.

При таких обстоятельствах действительно мало что может вызвать больший страх, чем неуклонно растущий в последние десятилетия авторитет научно-ориентированных экспертов в правительственных совещаниях. Беда не в том, что они достаточно хладнокровны, чтобы «помыслить немислимое», но в том, что они не мыслят. Вместо того чтобы заниматься этой старомодной некомпьютеризируемой деятельностью, они рассчитывают последствия неких гипотетически возможных конфигураций, не имея, однако, возможности проверить свои гипотезы на реальных фактах. Логический изъян в этих гипотетических сценариях будущего всегда один и тот же: то, что вначале предстает как гипотеза – с подразумеваемыми альтернативами или без оных, в зависимости от степени изоппренности сценария, – мгновенно, обычно после нескольких абзацев, превращается в «факт», который затем порождает целую цепочку таких же не-фактов, и в результате чисто спекулятивный характер всего построения оказывается забыт. Незачем говорить, что это не наука, а лженаука – или, если воспользоваться определением Ноама Хомского, «отчаянная попытка социальных и бихевиористских наук имитировать внешние признаки наук, действительно обладающих значительным интеллектуальным содержанием». И (как недавно указал Ричард Н. Гудвин в обзорной статье, обладавшей редким качеством – умением вскрывать «бессознательный юмор», характерный для многих напы-

⁴ «Отчет с железной горы» (Report from Iron Mountain. New York, 1967) – сатира на способ мышления RAND Corporation и других аналитических центров (*think tanks*); ее «робкая попытка заглянуть за край мирного времени», возможно, ближе к реальности, чем большинство «серьезных» исследований. Ее главный тезис – что война настолько принципиальна для функционирования нашего общества, что мы не рискуем ее отменить, если только не отыщем еще более человекоубийственных способов решать наши проблемы, – шокирует лишь тех, кто забыл, что кризис с безработицей в период Великой депрессии был разрешен только с началом Второй мировой войны, или тех, кому удобнее не замечать или преуменьшать масштабы современной скрытой безработицы.

ценных лженаучных теорий) самым очевидным и «самым глубоким возражением против этой разновидности стратегической теории служит не ее малая полезность, а ее опасность, так как она может убедить нас в том, что у нас есть понимание событий и контроль над их ходом, которых у нас на самом деле нет»⁵.

События – это, по определению, такие происшествия (*occurrences*), которые прерывают рутинные процессы и рутинные процедуры; только в мире, где никогда не происходит ничего существенного, могут сбыться видения футурологов. Предсказания будущего – всегда лишь проекции нынешних автоматических процессов и процедур, т. е. тех происшествий, которые предположительно произойдут, если люди не будут действовать и если не случится ничего непредвиденного; каждое действие, к добру или к худу, и каждая случайность (*accident*) неизбежно разрушают всю схему, в рамках которой существует предсказание и внутри которой оно находит свои данные. (К счастью, по-прежнему верно сделанное мимоходом замечание Прудона:

«плодовитость непредвиденного далеко превосходит предусмотрительность государственного деятеля». Еще с большей очевидностью она превосходит расчеты эксперта.) Называть такие непредвиденные, непредсказанные и непредсказуемые происшествия (*happenings*) «случайными событиями» (*random events*) или «последними спазмами прошлого», обрекая их на незначительность или на пресловутую «свалку истории», – это самый старинный прием предсказательского ремесла; прием этот, несомненно, помогает теоретической стройности, но лишь ценой дальнейшего удаления теории от реальности. Опасность состоит не только в правдоподобии этих теорий, поскольку они действительно берут свои данные из распознаваемых текущих тенденций, но и в том, что благодаря своей внутренней связности они оказывают гипнотический эффект – они усыпляют наш здравый смысл, который есть не что иное, как наш ментальный орган, предназначенный воспринимать и понимать реальность и фактичность и взаимодействовать с ними.

Никто из думавших об истории и политике не может не сознавать огромную роль, которую насилие всегда играло в человеческих делах, и на первый взгляд даже удивительно, что насилие так редко делалось предметом особого рассмотрения⁶. (В последнем издании энциклопедии социальных наук «насилие» даже не заслужило отдельной статьи.) Из этого видно, насколько насилие и его произвольность принимались за данность и потому оставались в пренебрежении; никто не изучает и не ставит под вопрос то, что всем очевидно. Те же, кто не видел в человеческих делах ничего кроме насилия и был убежден, что они «всегда случайны, несерьезны, не точны» (Ренан) или что Бог всегда на стороне больших батальонов, ничего сверх этого ни о насилии, ни об истории уже сказать не могли. Всякий, кто в хрониках прошлого искал хоть какой-то смысл, был чуть ли не вынужден рассматривать насилие как маргинальное явление. Будь то Клаузевиц, назвавший войну «продолжением политики другими средствами», или Энгельс, назвавший насилие «ускорителем экономического развития»⁷, акцент делался на политической или экономической непрерывности, на непрерывности процесса, который остается детерминирован тем, что предшествовало акту насилия. Поэтому исследователи международных отношений до недавних пор считали аксиомой, что «военное решение, не соответствующее глубинным культурным источникам национальной мощи, не может быть стабильным», или что «всякий раз, когда властная структура страны противоречит ее экономическому развитию», терпит поражение политическая власть с ее средствами насилия⁸.

⁵ Цит. по: Chomsky N. American Power and the New Mandarines. New York: Pantheon Books, 1969; Goodwin R. Review of Thomas C. Schelling «Arms and Influence» (Yale, 1966) // The New Yorker. 1968. February 17.

⁶ Разумеется, существует обширная литература о войнах и видах войны, но она посвящена орудиям насилия, а не насилию как таковому.

⁷ Engels F. Op. cit. Part II, ch.4 [Энгельс Ф. Указ. соч. С. 179–189].

⁸ Wheeler H. The Strategic Calculators // Calder N. Op. cit. P. 107; Engels F. Op. cit.

Сегодня все эти старые истины об отношениях между войной и политикой или о насилии и власти стали неприменимы. За Второй мировой войной последовал не мир, а холодная война и создание военно-промышленно-профсоюзного комплекса. Сегодня намного правдоподобнее, чем принадлежащие XIX веку формулы Энгельса или Клаузевица, звучат слова о «приоритете военного потенциала как главной структурирующей силы в обществе» или утверждения, что «экономические системы, политические философии и правовые системы обслуживают и расширяют военную систему, но не наоборот», или выводы, что «война сама по себе является базовой социальной системой, внутри которой конфликтуют или сотрудничают вторичные способы социальной организации». Еще более убедительным, чем простая инверсия, предложенная анонимным автором «Отчета с железной горы», – что уже не война является «продолжением дипломатии, или политики, или достижения экономических целей», а мир есть продолжение войны другими средствами, – еще более убедительным является фактическое развитие военных технологий. По словам русского физика Сахарова, «термоядерная война не может рассматриваться как продолжение политики военными средствами (по формуле Клаузевица), а является средством всемирного самоуничтожения»⁹.

Более того, мы знаем, что «небольшое количество оружия может за несколько мгновений уничтожить все прочие источники национальной власти»¹⁰, что уже изобретено биологическое оружие, с помощью которого «небольшая группа индивидов... сможет опрокинуть стратегическое равновесие» и которое достаточно дешево и потому может производиться в «странах, не способных развить ядерные ударные силы»¹¹ что «через несколько лет» солдаты-роботы «полностью вытеснят солдат-людей»¹² и что наконец в обычной войне бедные страны намного менее уязвимы, нежели великие державы, именно потому, что они «неразвиты», и потому, что в партизанских войнах техническое превосходство может «оказаться не сильным, а слабым местом»¹³. В сумме все эти неприятные новшества приводят к полному перевороту в отношениях между властью и насилием, предвещая в будущем переворот в отношениях между малыми и большими державами. Объем насилия в распоряжении конкретной страны скоро, возможно, уже не будет надежным показателем силы этой страны или надежной гарантией против разрушения со стороны существенно меньшей и более слабой державы. И здесь есть зловещее сходство с одной из древнейших интуиций политической науки – что власть (*power*) нельзя измерять в категориях богатства, что изобилие богатства может ослаблять власть, что богачи особенно опасны для власти и благосостояния республик. Эта интуиция хотя и была забыта, но не утратила своей значимости, особенно теперь, когда ее истина приобрела дополнительную значимость, став применима еще и к арсеналу насилия.

Чем более сомнительным и ненадежным инструментом становится насилие в международных отношениях, тем больше престижа и привлекательности оно приобретает во внутренних делах, особенно в вопросе революции. Интенсивная марксистская риторика новых левых совпадает с постоянным ростом совершенно немарксистской веры, провозглашенной Мао Цзэ-дунем, – веры в то, что «власть растет из дула винтовки». Разумеется, Маркс признавал роль насилия в истории, но для него эта роль была второстепенна; не насилие, а противоречия внутри старого общества приводили это общество к гибели. Вспышки насилия предшествовали возникновению нового общества, но не были его причиной, и эти вспышки Маркс сравнивал с родовыми муками, которые предшествуют событию рождения, но конечно же его причиной не служат. В том же духе он рассматривал и государство – оно является инструментом

⁹ Sakharov A. D. Progress, Coexistence, and Intellectual Freedom. New York, 1968. P. 36 [Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе // Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М., 2006. Т. I. С. 77–78].

¹⁰ Wheeler H. Op. cit.

¹¹ Calder N. The New Weapons // Calder N. Op. cit. P. 239.

¹² Thring M. W. Robots on the March // Ibid. P. 169.

¹³ Dedijer V. The Poor Man's Power // Ibid. P. 29.

насилия на службе правящего класса, но реальная власть правящего класса заключается не в насилии и не на насилии держится. Она определяется той ролью, которую этот правящий класс играет в обществе, или, точнее, его ролью в процессе производства.

Часто (иногда с сожалением) отмечалось, что под влиянием учения Маркса левое революционное движение отказалось от использования насильственных средств. «Диктатура пролетариата», в текстах Маркса откровенно репрессивная, должна была наступить лишь после революции и, подобно римской диктатуре, была рассчитана на строго ограниченный срок. Политические убийства, за исключением нескольких актов индивидуального террора, осуществленных небольшими группами анархистов, были прерогативой правых, тогда как организованные вооруженные восстания оставались специальностью военных. Левые пребывали в убеждении, «что всякие заговоры не только бесполезны, но и вредны. Они очень хорошо знают, что революции нельзя делать предумышленно и по произволу и что революции всегда и везде являлись необходимым следствием обстоятельств, которые совершенно не зависели от воли и руководства отдельных партий и целых классов»¹⁴.

Правда, в области теории было несколько исключений. Жорж Сорель, который в начале века попытался соединить марксизм с бергсоновской философией жизни (результат, хотя и на гораздо более низком уровне интеллектуальной изощренности, странно напоминает нынешний сартровский сплав экзистенциализма и марксизма), размышлял о классовой борьбе в военных категориях; однако в итоге он не предложил ничего более насильственного, чем знаменитый миф о всеобщей забастовке – сегодня об этой форме действия мы подумали бы как о принадлежащей к арсеналу ненасильственной политики. Но пятьдесят лет назад даже это скромное предложение принесло ему репутацию фашиста, несмотря на его энтузиастическое одобрение Ленина и русской революции. Сартр, который в предисловии к «Проклятьем заклейменным» Фанона заходит в прославлении насилия гораздо дальше, чем Сорель в своих знаменитых «Размышлениях о насилии», и дальше, чем сам Фанон, тезис которого Сартр хочет довести до логического вывода, по-прежнему говорит о «фашистских высказываниях Сореля». Отсюда видно, до какой степени Сартр не осознает свое фундаментальное расхождение с Марксом по вопросу насилия, особенно когда он утверждает, что «неукротимое насилие... это человек, заново творящий себя», что посредством «безумной ярости» «проклятьем заклейменные» могут «стать людьми». Это мнение тем более примечательно, что сама идея человека, творящего себя, строго принадлежит традиции гегельянского и марксистского мышления; это самый фундамент всего левого гуманизма. Но, согласно Гегелю, человек «производит» себя посредством мышления¹⁵, тогда как для Маркса, который перевернул «идеализм» Гегеля вверх ногами, эту функцию выполняет труд – человеческая форма метаболизма с природой. И хотя можно было бы утверждать, что все представления о человеке, творящем себя, объединяет бунт против самой фактичности человеческого удела (нет ничего более очевидного, чем то, что человек, как член вида или индивид, *не* обязан своим существованием самому себе) и что поэтому то, что объединяет Сартра, Маркса и Гегеля, существенней, чем [различие] тех конкретных занятий, посредством которых этот не-факт [творение человеком самого себя] предположительно должен произойти, все же нельзя отрицать, что такие сущностно мирные занятия, как мышление и труд, от любых дел насилия отделяет настоящая пропасть. «Застрелить европейца – значит поймать сразу двух зайцев... в итоге остаются мертвый человек и свободный человек», говорит Сартр в предисловии. Такой фразы Маркс никогда бы не написал¹⁶.

¹⁴ Это раннее замечание Энгельса из рукописи 1847 года я цитирую по: *Barion J. Hegel und die marxistische Staatslehre. Bonn, 1963* [Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: В 50 Т. М., 1955. Т. 4. С. 331].

¹⁵ Весьма показательно, что Гегель в этом контексте говорит о *Sichselbstproduzieren* [самопроизводстве]: *Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie / Hrsg. von J. Hoffmeister. Leipzig, 1938. P. 114* [Гегель Г. Ф. В. Лекции по истории философии. СПб., 1994. Кн. 2. С. 158].

¹⁶ Профессор Б. К. Парек (Университет Халла, Англия) любезно обратил мое внимание на следующий пассаж в разделе

Я процитировала Сартра, чтобы показать, что этот новый поворот к насилию в мышлении революционеров может остаться незамеченным даже для одного из их самых показательных и внятных представителей¹⁷, и это тем более примечательно, что речь очевидным образом не идет об операциях с абстрактным понятием, находящемся в ведении истории идей. (Перевернув «идеалистическую» идею (*concept*) мышления, можно прийти к материалистической идее (*concept*) труда; но невозможно прийти к понятию насилия.) Несомненно, у этого поворота есть своя собственная логика, но она проистекает из опыта, а любому из предыдущих поколений этот опыт был совершенно неведом.

Пафос и *élan* [порыв] новых левых, их, так сказать, чувствительность тесно связаны со зловещим самоубийственным развитием современных вооружений; это первое поколение, выросшее в тени атомной бомбы. От поколения родителей им достался опыт массивного вторжения уголовного насилия в политику: в школе и в университете они узнали о концлагерях и лагерях смерти, о геноциде и пытках¹⁸, о массовом военном истреблении гражданских лиц, без которого уже невозможны современные военные операции, пусть даже ограниченные «обычными» вооружениями. Их первой реакцией было отвращение от любой формы насилия, почти

о Фейербахе в «Немецкой идеологии» (1846) (об этой книге Энгельс позже писал: «Законченная часть... лишь доказывает, насколько неполным в то время было наше знание экономической истории»): «Как для массового порождения этого коммунистического сознания, так и для достижения самой цели необходимо массовое изменение людей (*des Menschen*), которое возможно только в практическом движении, в революции; следовательно, революция необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что *свергающий* класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества» (цит. по изд.: Marx K., Engels F. German Ideology / Ed. with an introduction by R. Pascal. New York, 1960. P. xv, 69 [Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: В 50 т. М., 1955. Т. 3. С. 70]). Даже в этих, так сказать, домарксистских, высказываниях различие между позициями Маркса и Сартра очевидно. Маркс говорит о «массовом изменении людей» и о «массовом порождении коммунистического сознания», а не об освобождении индивида благодаря изолированному акту насилия (немецкий текст см.: Marx K., Engels F. Gesamtausgabe. I. Abteilung. Berlin, 1932. Vol. 5. S. 59 ff.).

¹⁷ Бессознательное отклонение новых левых от марксизма не прошло незамеченным. См. прежде всего недавние комментарии о студенческом движении – Леонардо Шапиро (New York Review of Books. 1968. December 5) и Раймона Арона (Aron R. La Révolution Introuvable. Paris: Fayard, 1968). Оба усматривают в опоре на насилие откат либо к домарксову утопическому социализму (Арон), либо к русскому анархизму Нечаева и Бакунина (Шапиро), которые «много писали о важности насилия как фактора единения, как связующей силы в обществе или группе, за сто лет до того, как эти же идеи прозвучали в работах Жана-Поля Сартра и Франца Фанона». Арон пишет в том же ключе: «Певцы майской революции думают, что преодолели марксизм... они забыли о цел ом столетии исторического развития» (с. 14). Для немарксиста упрек в такой регрессии вряд ли был бы серьезным аргументом; но для Сартра, который, например, пишет: «Так называемое „преодоление“ марксизма в худшем случае может быть лишь возвратом к домарксистскому мышлению, в лучшем – открытием мысли, уже содержащейся в той философии, которую мнят преодоленной» (Sartre J. – P. Question de Méthode // Sartre J. – P. Critique de la raison dialectique. Paris: Gallimard, 1960. P. 17 [Сартр Ж. – П. Проблемы метода. М., 2008. С. 12]), это будет очень серьезным обвинением. (Примечательно, что Сартр и Арон, хотя и являются политическими оппонентами, совершенно согласны по этому пункту. Это показывает, до какой степени гегелевская концепция истории определяет мышление как марксистов, так и немарксистов.) Сам Сартр в «Критике диалектического разума» дает своему обращению к насилию гегелевское объяснение. Его исходная точка в том, что «нужда и нехватка предопределили манихейский базис действия и морали» в современной истории, «истина которой основана на нехватке и должна проявиться в антагонизме между классами». Агрессия – это следствие нужды в мире, где «на всех всего не хватает». В таких условиях насилие перестает быть маргинальным феноменом. «Насилие и противонасилие, возможно, контингентны, но это контингентные необходимости, и императивным следствием любой попытки уничтожить эту бесчеловечность будет то, что, уничтожая в противнике бесчеловечность противочеловека, я уничтожаю в нем человечность человека и реализую в себе его бесчеловечность. Когда я убиваю, пытаю, порабащаю, моя цель – подавить его свободу, т. е. чуждую излишнюю силу». Моделью для ситуации, в которой «каждый излишен, избыточен для другого», служит автобусная очередь, члены которой очевидно «не замечают друг в друге ничего, кроме места в числовом ряду». Сартр заключает: «Они взаимно отрицают всякую связь между внутренними мирами друг друга». А из этого следует, что практика – это «отрицание инаковости, которая сама по себе есть отрицание», – весьма удобный вывод, поскольку отрицание отрицания есть утверждение. Ошибка в этом рассуждении кажется мне очевидной. Есть огромная разница между «незамечанием» и «отрицанием», между «отрицанием всякой связи» с кем-либо и «отрицанием» его инаковости; и для человека со здравым рассудком есть значительное расстояние от теоретического «отрицания» до убийства, пыток и порабощения. Большая часть приведенных цитат взята из: Laing R. D., Cooper D. G. Reason and Violence: A Decade of Sartre's Philosophy, 1950–1960. London: Tavistock publications, 1964. Pt. 3. Это мне кажется допустимым, поскольку Сартр в предисловии говорит: «Я внимательно прочел труд, который вы мне посвятили, и к своему большому удовольствию нашел здесь очень ясный и верный очерк моего мышления».

¹⁸ Ноам Хомский верно указывает в числе мотивов к открытому бунту отказ «занимать место рядом с „честными немцами“, которых мы все выучились презирать» (Chomsky N. Op. cit. P. 368).

автоматическое присоединение к политике ненасилия. За очень крупными успехами этого движения, особенно в сфере гражданских прав, последовало движение протеста против войны во Вьетнаме, которое остается важным фактором, определяющим общественное мнение в этой стране [США]. Но отнюдь не секрет, что с тех пор положение изменилось, что теперь сторонники ненасилия перешли к обороне, и было бы пустословием заявлять, будто одни лишь «экстремисты» занимаются прославлением насилия и лишь они открыли (подобно алжирским крестьянам Фанона), что «только насилие результативно»¹⁹.

Новых воинствующих активистов клеймили как анархистов, нигилистов, красных фашистов, нацистов и (намного более обоснованно) как «луддитов»²⁰, а студенты отвечали столь же бессодержательными ярлыками – «полицейское государство» или «скрытый фашизм позднего капитализма» и (намного более обоснованно) «общество потребления»²¹. Причиной их поведения объявлялись все виды социальных и психологических факторов: избыток попустительства при их воспитании в Америке и взрывная реакция на избыток авторитета в Германии и Японии, нехватка свободы в Восточной Европе и избыток свободы на Западе, катастрофи-

¹⁹ *Fanon F. The Wretched of the Earth* [1961]. New York: Grove Press, 1968. P. 61. Я использую эту работу из-за ее большого влияния на нынешнее поколение студентов. Однако сам Фанон относится к насилию с намного большим скепсисом, чем его поклонники. Похоже на то, что массовый читатель прочел только первую главу этой книги – «Относительно насилия». Фанон знает о «безраздельной и тотальной жестокости, которая, если ее немедленно не подавить, неизменно ведет к поражению движения в течение нескольких недель» (Ibid. P. 147). Относительно недавней эскалации насилия в студенческом движении см. поучительный цикл статей «Gewalt» в немецком еженедельнике *Der Spiegel* (1969. February 10 и далее); в том же журнале см. цикл статей «Mit dem Latein am Ende» (Ibid. 1969. № 26–27).

²⁰ Они действительно образуют пеструю смесь. Радикальные студенты легко сходятся с отчисленными студентами, хиппи, наркоманами и психопатами. Ситуация еще больше осложняется из-за того, что власти не учитывают различий – часто весьма тонких – между преступлением и несоблюдением правил, а эти различия весьма важны. Сидячая забастовка и захват здания – это не то же самое, что поджог или вооруженный мятеж, и различие здесь не чисто количественное. (Вопреки мнению одного из членов совета попечителей Гарвардского университета, захват университетского здания студентами – это не то же самое, что вторжение уличной толпы в отделение Первого национального банка, по той простой причине, что студенты вторгаются на территорию, использование которой, конечно, регулируется правилами, но к которой они сами принадлежат и которая им принадлежит точно также, как преподавателям и администрации.) Еще большую тревогу вызывает склонность преподавателей и администрации относиться к наркоманам и криминальным элементам (в Сити-колледже в Нью-Йорке и в Корнельском университете) намного мягче, чем к собственным бунтарям. Гельмут Шельски, немецкий социолог, еще в 1961 году описал (*Schelsky H. Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation. Köln; Opladen, 1961*) возможность «метафизического нигилизма», под которым он подразумевал радикальное общественное и духовное отрицание «всего процесса человеческого научно-технического воспроизводства», т. е. «нет», сказанное «возникающему миру научной цивилизации». Назвать такую позицию нигилистической значит принимать современный мир за мир единственно возможный. Протест молодых бунтарей касается именно этого пункта. Более того, вполне осмысленно было бы обвинить самих обвинителей и сказать, как это сделали Шелдон Уоллин и Джон Шаар: «В настоящее время главную угрозу составляет то, что правящие и уважаемые слои, кажется, готовы подписаться под самым нигилистическим отрицанием, какое только может быть, т. е. отрицанием будущего посредством отрицания собственных детей, носителей этого будущего» (*Wolin Sh., Shaar J. Op. cit.*). Натан Глейзер в статье «Студенческая власть в Беркли» пишет: «Студенты-радикалы... больше напоминают мне луддитов, разбивавших машины, чем членов социалистических профсоюзов, которые добивались для рабочих полноты гражданских прав и власти» (*Glazer N. Student Power in Berkeley//The Public Interest (special issue «The Universities»).* 1968. Fall), и из этого он делает вывод, что Збигнев Бжезинский (в статье о Колумбийском университете: *The New Republic*. 1968. June I), видимо, прав в своем диагнозе: «Весьма часто революции – это последние судороги прошлого, и потому на самом деле это не революции, а контрреволюции, происходящие под именем революций». Не кажется ли странным это пристрастие к движению вперед любой ценой у двух авторов, которые обычно считаются консервативными? И не кажется ли еще более странным то, что Глейзер не осознает решающих различий между фабричными машинами в Англии начала XIX века и техникой середины XX века, которая оказалась разрушительной даже в самом благотворительном облиии – открытие ядерной энергии, автоматика, медицина, целебная сила которой привела к перенаселению, которое, в свою очередь, почти непременно приведет к массовому голоду, загрязнению воздуха и так далее?

²¹ Последний из этих эпитетов имел бы смысл, если бы понимался описательно (а не оценочно). Однако за ним стоит иллюзорная идея Маркса об обществе свободных производителей, об освобождении производительных общественных сил. На самом же деле такое освобождение осуществляется не с помощью революций, как думал Маркс, а с помощью науки и технологии. Более того, это освобождение оказалось не ускорено, а серьезно замедлено во всех странах, переживших революцию. Иначе говоря, за студенческим обличением потребления стоит идеализация производства, а вместе с ней – архаичное обожествление производительности и творчества. «Радость разрушения – это творческая радость» – это действительно так, если верить, что «радость труда» производительна; разрушение – это чуть ли не единственный оставшийся «труд», который можно совершить с помощью простых орудий и без помощи машин, хотя машины проделали бы эту работу, конечно, намного более эффективно.

ческая нехватка рабочих мест для молодых социологов во Франции и сверхизобилие вакансий почти во всех областях деятельности в США. Все эти факторы кажутся достаточно убедительными на местном уровне, но наглядно опровергаются тем фактом, что студенческий бунт есть феномен глобальный. Об общем социальном знаменателе этого движения речи быть не может, но невозможно не признать, что психологически это поколение повсеместно отличается отвагой, поразительной волей к действию и не менее поразительной уверенностью в возможности перемен²². Однако эти качества не являются причинами [бунтов], и если спросить, что же на самом деле привело к этому – совершенно непредвиденному – развитию событий в университетах по всему миру, то было бы нелепо игнорировать самый очевидный и, возможно, самый влиятельный фактор, не имеющий к тому же ни precedентов, ни аналогий, а именно тот простой факт, что технологический «прогресс» так часто ведет напрямик к катастрофе²³, что науки, преподаваемые этому поколению, кажется, не только не способны исправить катастрофические последствия собственных технологий, но и достигли в своем развитии такой стадии, когда «нельзя сделать практически ничего, что нельзя было бы превратить в войну»²⁴. (Разумеется, для сохранения университетов, которые, по словам сенатора Фулбрайта, передают общественное доверие, как только становятся зависимы от исследовательских проектов, финансируемых правительством²⁵, нет ничего важнее, нежели строго соблюдаемая отстранен-

²² Эта жажда действия особенно заметна в небольших по масштабу и сравнительно безобидных предприятиях. Студенты успешно выступили против руководства кампуса, которое платило обслуживающему персоналу кафе, зданий и территории университета меньше законного минимума. В число таких предприятий следует включить и решение студентов Беркли присоединиться к борьбе за превращение пустующего участка, принадлежавшего университету, в «народный парк», хотя оно и привело к самой жесткой за все последнее время реакции со стороны властей. Судя по инциденту в Беркли, кажется, именно такие «неполитические» действия заставляют студенческую массу сплотиться вокруг радикального авангарда. «Во время студенческого референдума, на котором была достигнута самая большая явка в истории студенческого голосования, 85 % (из почти 15 тысяч) голосов было отдано за использование этого участка» как народного парка. См. превосходный репортаж: *Wolin Sh., Schaar J. Berkeley: The Battle of People's Park // New York Review of Books. 1969. June 19.*

²³ Искать precedенты и аналогии там, где их попросту нет, и уклоняться от описания и обдумывания того, что сейчас говорится и делается, на языке самих современных событий под тем предлогом, что нам следует выучить уроки прошлого, особенно уроки периода между двумя мировыми войнами, стало характерной чертой очень многих современных дискуссий. Совершенно свободен от этой формы эскапизма блестящий и умный репортаж Стивена Спендера о студенческом движении, процитированный выше. Он принадлежит к тем очень немногочисленным представителям своего поколения, которые одновременно достаточно чутки к настоящему и достаточно хорошо помнят собственную молодость, чтобы сознавать всю разницу между двумя эпохами в настроении, стиле, мышлении и действии («сегодняшние студенты совершенно не похожи на студентов Оксфорда, Кембриджа, Гарварда, Принстона или Гейдельберга сорок лет тому назад» [*Spender S. Op cit. P. 165*]). Но позицию Спендера разделяют вообще все те, кто действительно озабочен будущим мира и человека (к какому бы поколению они ни принадлежали), в отличие от тех, кто этим будущим играет. (Шелдон Уоллин и Джон Шаар говорят о «возрождении чувства общей судьбы», которое может связать разные поколения, о «нашем общем страхе, что созданное наукой оружие уничтожит все живое, что технология будет все сильнее уродовать живущих в городах людей, как уже осквернила землю и помрачила небо», что «прогресс индустрии уничтожит саму возможность интересной работы и что коммуникации сотрут последние следы разнообразных культур, которые были наследием всех обществ, кроме самых отсталых» [*Wolin Sh., Schaar J. Op. cit.*]). Кажется вполне естественным, что такую позицию чаще занимают физики и биологи, а не представители общественных наук, хотя студенты естественных факультетов не такие рьяные бунтари, как их товарищи гуманитарии. Так, Адольф Портманн, знаменитый швейцарский биолог, считает, что возрастной разрыв между поколениями имеет мало общего с конфликтом между молодыми и старыми – этот конфликт возникает с появлением ядерной науки: «в итоге возникло совершенно новое положение дел в мире... его нельзя сравнить даже с самой мощной революцией прошлого» (*Portmann A. Manipulation des Menschen als Schicksal und Bedrohung. Zürich: Verlag Die Arche, 1969*). И нобелевский лауреат Джордж Уолд из Гарварда в своей знаменитой речи в МГТ 4 марта 1969 года справедливо подчеркнул, что преподаватели понимают «причины беспокойства студентов даже лучше, чем сами студенты», и, более того, это беспокойство разделяют (*Wald G. Op. cit.*).

²⁴ Так считает Джером Леттвин из MIT; см.: *New York Times Magazine. 1969. May 18.*

²⁵ В современной политизации университетов (предмете справедливых сожалений) часто обвиняют бунтующих студентов, которые якобы нападают на университеты, поскольку те являются слабым звеном в цепи существующей власти. Совершенно справедливо, что университеты не выживут, если исчезнут «интеллектуальная беспристрастность и бескорыстный поиск истины», и, что еще хуже, вряд ли какое бы то ни было цивилизованное общество сумеет пережить исчезновение этих странных учреждений, главная общественная и политическая функция которых состоит именно в их беспристрастности и независимости от общественного давления и политической власти. Власть и истина, обе совершенно законные каждая в своей сфере, – это принципиально различные феномены, и выбор одной или другой в качестве жизненной цели приводит к экзистенциально различным жизненным путям. Збигнев Бжезинский в статье «Америка в технотронную эру» (*Brzezinski Z. America in the Technotronic Age // Encounter. 1968. January*) эту опасность видит, но либо смирился с ней, либо не так уж встревожен этой

ность от имеющих военную направленность исследований и всех сопутствующих проектов; но было бы наивно надеяться, что такая отстраненность изменит природу современной науки или помешает военным усилиям, и так же наивно было бы отрицать, что ограничения, к которым приведет такая отстраненность, вполне могут иметь следствием снижение университетских стандартов²⁶. Единственное следствие, которого бы не возымела, скорее всего, такая отстраненность, – это полное прекращение федерального финансирования; поскольку, как недавно отметил Джером Леттвин из МИТ, «правительство не может себе позволить не финансировать нас»²⁷ равно как и университеты не могут себе позволить отказ от федерального финансирования; но это значит всего лишь, что университеты «должны научиться фильтровать финансовую поддержку» (Генри Стил Коммаджер) – трудная, но не невыполнимая задача в свете огромного увеличения власти университетов в современном обществе.) Короче говоря, явно непреодолимое распространение техники и машин не просто угрожает некоторым классам безработицей – оно угрожает существованию целых стран и, возможно, всего человечества.

Вполне естественно, что новое поколение острее сознает возможность конца света, чем те, «кому за тридцать», не потому, что оно моложе, но потому, что [осознание этой возможности] стало для этого поколения первым формирующим переживанием. (То, что для нас всего лишь «проблемы», «встроено в плоть и кровь молодежи»²⁸.) Если задать представителю этого поколения два простых вопроса: «Каким бы ты хотел видеть мир через пятьдесят лет?» и «Какой бы ты хотел видеть свою жизнь через пять лет?» – ответы чаще всего будут начинаться с оговорок: «при условии, что мир еще будет существовать» и «при условии, что я буду еще жив». По словам Джорджа Уолда, «мы столкнулись с поколением, которое отнюдь не уверено в том, что у него есть будущее»²⁹

перспективой. Он полагает, что технотрония приведет к новой «сверхкультуре» под руководством новых «интеллектуалов, для которых центральными будут организационные и прикладные вопросы». (См. прежде всего недавний критический разбор Ноама Хомского «Объективность и либеральная наука»: *Chomsky N. Op. cit.*) На самом деле намного более вероятно, что эта новая порода интеллектуалов, прежде известных как технократы, приведет к эре тирании и предельного бесплодия. Как бы то ни было, остается фактом, что прежде, чем университеты были политизированы студенческим движением, они были политизированы властями. Соответствующие факты слишком хорошо известны, чтобы их приводить, но стоит напомнить, что речь здесь не только о военных исследованиях. Генри Стил Коммаджер недавно подверг критике «университет в роли агентства по найму» (*The New Republic*. 1968. February 24). Действительно, «никакие усилия воображения не помогут представить химическую компанию „Доу“, морскую пехоту или ЦРУ образовательными учреждениями» или организациями, имеющими целью поиск истины. Мэр Джон Линдсей поставил вопрос, имеет ли университет право называться «особенным общественным институтом, отрешенным от мирской корысти, если он спекулирует недвижимостью и помогает в разработке и оценке проектов для армии, участвующей во Вьетнамской войне» (*The Week in Review // New York Times*. 1969. May 4). Заявления, будто университет – это «мозг общества» или мозг властных структур, – это опасная самонадеянная чепуха, хотя бы потому, что общество не «организм» и тем более не безмозглый. Во избежание недоразумений: я целиком согласна со Стивеном Спендером, что будет ужасной глупостью, если студенты разгромят университеты (хотя только они действительно на это способны по той простой причине, что на их стороне численный перевес, а значит, реальная власть), поскольку кампусы – это не только их реальная, но и единственно возможная база. «Без университета не было бы и студентов» (*Spender S. Op. cit.* P. 22). Но университеты останутся базой студентов лишь до тех пор, пока они остаются единственным местом в обществе, где власть не имеет решающего голоса несмотря на все искажения и извращения этого принципа. В текущей ситуации есть опасность, что либо студенты, либо, как в случае Беркли, власти потеряют голову; если это случится, молодые бунтари попросту влетут лишнюю нить в то, что было справедливо названо «узор катастрофы» (профессор Ричард Э. Фолк из Принстона).

²⁶ Непрерывное перетекание фундаментальных исследований из университетов в промышленные лаборатории весьма значительно и подтверждает наш тезис.

²⁷ Ibid.

²⁸ Spender S. *The Year of the Young Rebels*. New York, 1969. P. 179.

²⁹ *New Yorker*. 1969. March 22.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.